

# III ПОГРУЖЕНИЕ

На эту ночь я остановилась в доме под названием Копигольд Холлоу, притулившемся под высоченным обрывом над морем. Сад изобилует цветами: пионами, водосборами, распутившимися розами; темный прозрачный воздух был пропитан их ароматом. Мне не спалось; лежа на низенькой кровати, я то проваливалась в сон, то внезапно просыпалась. Я думала о том, что видела реки, которые знала только по книгам, они извивались, как змеи, то и дело меняя русло. Среди них была коричневая богиня Элиота<sup>15</sup>, Лиффи<sup>16</sup> Джойса, Темза цвета жареных каштанов, от которой пахнет пирогами, как она описана в «Ветре в ивах»<sup>17</sup>, грозный Альф из поэмы «Кубла Хан» С. Кольриджа.

Территории, налагающиеся друг на друга либо парящие в невесомости, неподвластные никакой географии. Реки петляют по мирам, как реальным, так и вымышленным, изливаются родниками и фонтанами и иссякают, образуя лиманы или болота. Они текут в романах Ч. Диккенса, поэмах Дж. Элиота и в Библии, не-

15. Аллюзия на строку из поэмы Т. Элиота «Драй Селвэйджес» — «река — это коричневая богиня» (пер. А. Сергеева).

16. Река в Ирландии, протекающая через Дублин.

17. Сказочная повесть шотландского писателя Кеннета Грэма.

ся тела или младенцев в корзинках. Это Сей и Флосс, сверкающая черная Конго Дж. Конрада, стремительные потоки Э. Хемингуэя и А. Маклина, Миссисипи Гекльберри Финна и Темза «Бесплодной земли»<sup>18</sup> и Вирджинии Вулф. Хотя все эти реки были всего-навсего книжными, меня едва ли не пьянили их изображения, ведь они питали мою неумемную страсть к воде.

Когда я окончательно проснулась, было почти девять, и я, спотыкаясь, спустилась к завтраку. Пока я глотала сосиски и жадно прихлебывала кофе, хозяйка гостиницы толковала о церкви в Бервике и о семействе Блумсбери и его сложных кровнородственных браках. Было 23 июня, канун Рождества Иоанна Предтечи, воспе той Шекспиром ночи, когда всё идет кувырком. Считалось, что в канун Иванова дня преграда между двумя мирами истончается. По случаю праздника жгли костры и исполняли ритуальные танцы, а еще это был самый подходящий момент для поиска семян папоротника — сами практически невидимые, они наделяют тем же качеством их обладателя.

Я планировала выйти до наступления жары, но к тому времени, как расправилась с остатками бекона, солнце было уже на уровне глаз и быстро поднималось. Сегодня мне предстояло увидеть не такой уж большой участок реки — там, где она пересекает дорогу Слуп-лейн и течет по лугам возле Шеффилд-Парка. Завтра мне придется добираться до фермы Ваггис, иначе говоря, пройти насквозь весь город Льюис, а затем еще ковлять по болотистому Бруксу. Зато сегодня мой путь лежал преимущественно через леса, остатки огромной лесной территории Andredesleage, когда-то тянувшейся через три страны.

Первым делом я вышла на дорогу, ведущую к Линдфилду; накануне вечером меня насмерть перепугали тени, сгустившиеся с наступлением сумерек, и я неслась вперед, как одержимая. Сейчас же здесь всё дышало покоем и блаженной прохладой, передо мной лежало поле для гольфа, всё еще скользкое от росы. Дорога бежала по окраине города, пересекая центральные улицы и выводя из церковного двора прямо в поле, где паслись грустные коровы с торчащими ребрами, которые выпирали, как вешалки, из-под неряшливых шкур. Коровам было жарко, и они сгучились в колыхающейся тени, которая не продержится и часа.

18. Поэма Т. Элиота.

На дороге не было и подобия тени. Сверху припекало солнце, и резкий свет стал выкидывать шутки с моими глазами. До самого Хэнгмэн-Акра по обеим сторонам дороги трава ярко блестела. На земле валялась солома, и казалось, мое зрение каким-то чудесным образом обострилось настолько, что я могла пересчитать каждую соломинку, каждый пшеничный колосок, каждую травинку, клонившуюся с легким шелестом, когда я на нее наступала ногой. Сквозь грязновато-золотые колосья били лучи, словно устремленные обратно в небо. Краешком глаза я видела мерцающее поле, оно подергивалось, как будто в любой момент вся обманка — хлеба, нарисованные на голубом фоне, — могла сдвинуться в сторону, и мне вовсе не хотелось думать о том, что за ней скрывалось.

Я села, привалившись спиной к живой изгороди, и намазалась солнцезащитным кремом. Легкий ветерок, пахнущий пылью и розами, лизал ограду, а в пшенице там и сям вспыхивали слабые огоньки. Мое нынешнее перегретое состояние предвещало приступ мигрени. Такие фокусы со зрением, когда вам мерещатся опадающие лепестки или косяки плавающих звезд, имеют странный побочный эффект: мир кажется зыбким, точно иллюзия, созданная стенами света.

Одним из симптомов психического расстройства, которым страдала Вирджиния Вулф, были мигрени, во время обострений они сопровождалась слуховыми и зрительными галлюцинациями. Безусловно, неспособность осознать свои ощущения сказывалась на ее восприятии мира: он казался ей хрупким и пребывающим в постоянном движении. В статье «Современная художественная проза» она назвала его «непрекращающимся потоком бесчисленных атомов», такое его понимание нашло отражение почти во всех ее книгах. Некоторые ее персонажи, если вдуматься, также страдали от галлюцинаций, например бедолага Септимус Уоррен-Смит в «Миссис Дэллоуэй»: он, пошатываясь, бредет по Риджентс-парку и видит, как собака трансформируется в человека, деревья оживают и между лавочками к нему идет покойник.

Мне не мерещатся псы, превращающиеся в людей, однако весь остаток дня с моим зрением явно творятся метаморфозы, словно меня нечаянно заколдовали, как персонажей «Сна в летнюю ночь». Путаница в пьесе вызвана соком анютиных глазок — *Viola tricolor*: если sprysнуть им глаза спящего, то он влюбится в первого встреч-

ного, будь то лев, обезьяна или шут с ослиной головой. Но даже те, кто избежал помазания, не верят собственным глазам. «Мои глаза расщеплены как будто, — восклицает потрясенная Гермия. — Я вижу всё вдвойне». «Уверены ли вы, что мы проснулись? Нет, мы спим, мы грезим, по-моему»<sup>19</sup>, — отвечает ей Деметрий. Быть может, это магия даты или синоптическая реакция на солнце, но весь день на меня периодически накатывали сомнения в материальности того, что я вижу, словно я тоже разгуливала по ускользающим пространствам сновидений.

Я укрылась в лесу Хенфилд, хотя, чтобы туда добраться, мне пришлось миновать отстоявшие от деревни селения, к каждому из которых вел собственный дугообразный подъезд. На телеграфных столбах то и дело встречались объявления, обещающие «солидное вознаграждение за пропавшую сиамскую кошечку». Лишь прочитав третье, я осознала, что они датированы восьмым сентября. Эти объявления усиливали чувство остановившегося или застопорившегося времени, так или иначе то были проделки летнего солнцестояния, переломного дня в году, когда всё на короткий миг будто затормаживается, прежде чем качнуться к зрелости и к последующему разложению.

«Выше нос», — сказала я себе, но потерявшаяся кошечка не шла у меня из головы. Королек в лесу щебетал: «Притютю-притютю-притютю». На последнем слоге интонация шла вверх, получалось очень жалобно. Свет здесь был приглушен, просачиваясь через папоротники и листья орешника и ложась на землю узорами внахлест, наподобие зеленоватых чешуек. Впрочем, в атмосфере было что-то нервное. Казалось, передо мной вход в иной мир, тайный либо упраздненный. Хенфилд не был естественным лесом. Он выглядел очень ухоженным, с утрамбованными тропинками, вдоль широкой аллеи выстроились накренившиеся телеграфные столбы. До меня доносился детский визг, на краю поля гладкие кобылы с жеребятами жевали сено, которое подвозила девушка на квадроцикле. Изгородь смотрелась как новенькая; загоны были электрифицированы. Это был юго-восток, распределенный на участки, безупречно чистый, об этом гласил каждый его квадратный метр. Но от теней леса, несмотря на всю его чрезмерную ухоженность, веяло чем-то неукротимым.

19. Шекспир У. Сон в летнюю ночь. Перевод М. Лозинского.

Я сошла с дороги и направилась к роще, где ясень рос вперемешку с приземистыми дубками. Веточки потрескивали, листва шуршала, словно кто-то шевелился в кронах. Вчера в Риверс-Вуде, почувствовав на себе чужой взгляд, я принялась озираться по сторонам, ожидая заметить черного дрозда. На тропинке стоял мужчина. Когда я повернулась, он пригнулся и нырнул в гущу папоротников. Впереди виднелись два фазаньих загона, дорога шла как раз мимо них. «Кто кого напугал?» — размышляла я. В лесу мне часто становится боязно, подобное чувство я испытываю еще разве что на многоуровневой парковке. Я боюсь, вдруг что-то случится, а вокруг — ни души, боюсь заблудиться — что среди деревьев, что среди бетонных колонн.

Этим утром я думала о «Ветре в ивах», и тут меня осенило: если эта сказка привила мне любовь к рекам, то могла породить и легкое недоверие к лесам, раз уж она так врезалась мне в сознание. Отец ушел, когда мне было четыре, через выходные он приезжал из Лондона и забирал нас к себе. По дороге я слушала кассеты с записями «Рассказов о приведениях» М. Р. Джеймса, «Троих в лодке, не считая собаки», «Повести о двух городах» и самое любимое — «Ветер в ивах». Тогда мы жили в районе Темз-Валлей, неподалеку от дома, в котором вырос сам Кеннет Грэм, и место, пусть и безымянное, мгновенно опознавалось. Мы с сестрой слушали кассету так часто, что она стала частью семейного фольклора, запечатлевалась на открытках по случаю дней рождений и в домашних шутках. На наших пикниках на берегу Темзы мы твердили мантру: «Жареный цыпленок, отварной язык-бекон-ростбиф-корнишоны-салат-французские булочки-заливное-содовая...»<sup>20</sup>, плотноядно потирая животы.

Однажды осенью в начале 1980-х мы возвращались домой в ливень и по дороге у нас кончился бензин. Лило как из ведра, и отцу пришлось запереть нас в машине, не вынимая ключа из зажигания, кассета продолжала крутиться. Темно не было, однако по стеклам бежали нескончаемые струйки воды, и внешний мир словно отодвинулся куда-то далеко. Когда мы затормозили, Тоуд как раз впервые увидел автомобиль, а затем картина резко сменилась. «На улице было холодно, свинцовые тучи неподвижно, тяжело нависали над землей, — произнес рассказчик. — Крот на цыпочках вышел

20. Грэм К. Ветер в ивах. Здесь и далее перевод И. Токмаковой.

из дома». Должно быть, зимний воздух его опьянил, ибо он пребывал в том бесшабашном настроении, когда ноги сами собой понесли его в Дремучий Лес, хотя долгое время сама мысль о подобном приключении вызывала у него опаску.

Мы с сестрой тревожно переглянулись. Поначалу ничто в лесу не показалось ему странным. Лишь когда сгустились сумерки, Кроту померещилось, что на него из дупла кто-то смотрит. Неужели это была чья-то физиономия? Крот пригляделся. Померещилось. Но тут в дупле мелькнула еще одна, потом еще, внезапно их образовались сотни — злых узких физиономий с жестоким взглядом. Затем к физиономиям добавилось посвистывание, а вскоре послышался топот, который всё усиливался, будто град молотил по палой листве, словно за чем-то — кем-то — гнались. Крот тоже припустил со всех ног — сердце вырывалось из груди, ноги подкашивались — и бежал, пока не зарылся в сухую листву у корней старого дерева, перед тем едва не свалившись в глубокую темную яму.

На счастье, как раз в этот момент вернулся отец с канистрой бензина — его подвез незнакомец. Крот — мы ждали с замиранием сердца — также был в безопасности. Его отыскал дядюшка Рэт, вооруженный дубинкой, а когда лес замело снегом, пара друзей наткнулась на нору Барсука. Никто не пострадал. Никого не заклевал насмерть дятел, и мы сидели на заднем сиденье, целые и невредимые. Тем не менее это происшествие укрепило вкравшееся мне в душу ощущение, что мир не всегда столь приятен, как кажется, и когда я познакомилась с судьбой самого Кеннета Грэма, то не слишком удивилась, узнав, какая мрачная доля ему досталась.

\*

Кеннет Грэм родился в Эдинбурге в 1859 году, детство провел в графстве Аргайл, где его отец служил заместителем шерифа. Он рано познал лишения, потеряв отца, мать, родной дом, и хотя его мать умерла от скарлатины, причиной всех прочих семейных неурядиц был алкоголь. Каннингем Грэм был алкоголиком, тайным пьяницей, он сгубил семью не физическим насилием или злой волей, а просто не сумел предотвратить ее сползания в хаос. После смерти жены Каннингем перестал контролировать себя, и его более трезвомыслящим родственникам стало ясно, что четверем осиротевшим детям нужен другой дом.

Таковым стал особняк Маунт в Кукхэм-Дине, небольшой беркширской деревне в полутора километрах от Темзы. Маунт принадлежал бабушке Кеннета по материнской линии и был, по его собственному отзыву, одним сплошным раем с садами, ельниками, прудами и источниками, населенным бандитами, ворами и пиратами — с пистолетами! Этот период, почти свободный от вмешательства взрослых и обогащенный игрой воображения, полностью преобразил Кеннета, и, хотя он не продлился и двух лет, воспоминания об этой утерянной Аркадии остались с ним на всю жизнь, повлияв на его сочинения. Он постоянно обращался к Кукхэм-Дину в романтических ностальгических рассказах, принесших ему славу, а к реке он возвратился и в своей последней книге — сказке о дядюшке Рэте, Кроте и мистере Тоуде.

В 1866 году особняк Маунт и его волшебные сады были проданы, и примерно в то же время Каннингем изъявил желание взять детей назад. Однако уже через год он поставил на прошлом крест, бросил дом, уволился с работы и уехал во Францию, где и провел остаток жизни в дешевом пансионе в Гавре. Дети вернулись к бабушке, которая к тому времени переехала в коттедж неподалеку от Кукхэм-Дина, а в 1868 году Кеннета отправили в школу, обучение оплачивал его дядя. Эти три события, столь близкие по времени, травмировали ребенка настолько, что его память словно застыла в семилетнем возрасте. С потерей Маунта и отца его детство во всех смыслах закончилось.

Школы-пансионы учат мальчиков скрывать чувства и прятать свое «я» столь глубоко, что докопаться до них порой невозможно. Искусство прятаться Кеннет освоил превосходно. Скрывать свой внутренний мир от взрослых, этих олимпийцев, чьи стереотипные и глупые замашки он высмеивал в своих позднейших рассказах, он привык с детства. Проблема была в том, что его тайное «я» не желало созреть, проще говоря, Кеннет так до конца и не повзрослел. Скрытный мальчик остался в душе малым ребенком, и, хотя именно это свойство позволяло ему необычайно остро воспринимать действительность, оно же делало его абсолютно не приспособленным к нормальной жизни.

Кеннет мечтал поступить в Оксфордский университет, место, которое виделось ему волшебным царством и куда его не пускали. В эссе, опубликованном уже после смерти, он трогательно описывал это чувство отчуждения:

Что предвещали эти величественные и высоченные двойные ворота, сурово зарешеченные и никогда не открывающиеся зря? — задавался я вопросом. Лишь мало-помалу и куда позднее я стал понимать, что они служили ясным символом и назиданием. Среди смеси качеств, придающих обаяние студенческой жизни, есть те, что несут немалый налет (надо ли говорить?) исключительности и чванства. Никто их не воспринимал такими, однако их присутствие ощущалось, и ворота были тому типичным примером. Разумеется, никому не приходит в голову, что чванство никуда не делось. Ведь ворота стоят на прежнем месте.

Эти строчки явственно перекликаются с произведениями Вирджинии Вулф. Писательница ни дня не ходила в школу, не говоря уже об университете. В эссе «Своя комната» она с горечью, смешанной с иронией, описывает свое посещение Кембриджа. Там ее то и дело куда-то не пускали или откуда-то выпроваживали, ведь дамам не дозволено ходить по газону, а «в библиотеку они допускаются только в обществе Члена Университетского Совета или с рекомендательным письмом»<sup>21</sup>. Недостаток регулярного образования заставлял ее всю жизнь чувствовать себя профаном — временами это ее угнетало, временами, напротив, раскрепощало. В ее дневнике есть запись, которую, как мне представляется, высоко оценил бы Кеннет Грэм: «Посвященные пишут на бесцветном английском. Они — продукт университетской машины. Я их уважаю... Они оказывают великую службу, подобно римским дорогам. Но они избегают лесов и блуждающих огней».

Вместо обучения в Оксфорде Кеннет Грэм по указке ненавистного дяди, контролировавшего финансы детей, устроился на службу. Он работал подручным на семейной ферме, а в 1879 году, прямо под Новый год, поступил клерком в Банк Англии. В конце девятнадцатого века этот банк, по всем отзывам, был весьма своеобразным местом. Согласно Элисон Принс, автору последней биографии Грэма, здесь не было в диковинку застать клерка в туалете за разделкой бараньей туши, купленной на местном рынке. В туалетах также устраивались собачьи бои, которые настолько вошли в обиход, что некоторые особенно азартные клерки держали бойцовских собак на цепи прямо в конторских помещениях. Пьянство

21. Вулф В. Своя комната. Перевод Н. Рейнгольд.

было нормой, рабочий день короток, а о поведении персонала ходила дурная слава, совсем как о нынешних менеджерах хедж-фондов и валютных спекулянтах.

Можно было ожидать, что чувствительный юноша потеряется в подобной среде, однако Грэм учился в обычной средней школе и уже привык к мальчишеским безобразиям. Он никогда не лез на рожон, медленно поднимался по служебной лестнице, а в свободное время начал писать. Сегодня его ранние вещи кажутся сентиментальными, однако они были созвучны викторианской тяге к невинности, и читатель принимал их с нарастающим восторгом. Грэм писал о природе, о скитальцах и странниках, о тупых дядюшках и людях, оставивших исполненный вражды город, чтобы вольно бродить по сонным долинам Темзы. На современный вкус, осень у него слишком часто приходит в желто-красной плащанице, но со временем таких красотей становится меньше. Когда Грэм начал воссоздавать мир своего детства, его сочинения приобрели простоту и жизненность. «Золотые годы», его второй сборник рассказов, почти целиком автобиографический, задел у читателей настолько глубинные струнки, что писатель в одночасье сделался знаменитым.

Пока век близился к завершению, в жизни Грэма произошли две перемены. Он получил должность секретаря Банка Англии и встретил Элспет Томсон, свою будущую жену. В 1897 году ей было тридцать пять; сирота с чудинкой, которая, несмотря на детские манеры, совсем неплохо вела хозяйство своего отчима. В этот период Кеннет много болеет, и его ухаживание в основном сводится к весточкам из различных пристанищ, где он поправляет здоровье. Из их вроде бы обширнейшей переписки сохранилось всего одно письмо Элспет, зато сотни Кеннета. Почти все они написаны детским языком, малопонятным и довольно-таки раздражающим.

«Милая Пташка, — начинается одно из ранних посланий, — ндеюс, ты уже блезка к таму и выпархниш из гнесдышка, чтобы полетат вакруг». Другое, необычайно романтическое, заканчивается так: «Я мичтаю о тибе кагда всё станет как всаправду любящий тебя Динозаврик».

Предложение руки и сердца, свадебные планы и разговоры о будущем обустройстве — всё излагалось языком, напоминающим младенческий лепет, этот говор позволял обоим участникам переписки играть в малышей, лишь игрой случая занесенных в неопостижимый мир взрослых. Помимо того, любовное щебетание на

время помогало скрыть вопиющее различие между корреспондентами: Динозаврика мало интересовала интимная сторона жизни, обществу людей он предпочитал лодки и реки, тогда как Пташка была плохо образованна и полна романтических ожиданий.

Невзирая на яростные возражения отчима Элспет и смятение родственников, друзей и даже домработницы Кеннета Грэма, свадьба состоялась. Невеста проплыла по храму, как застенчивая фея, оросив слезами муслиновое платье, в ожерелье из привядших маргариток. Медовый месяц прошел в Корнуолле, где Кеннет доказал свою полную супружескую непригодность: при каждой подвернувшейся возможности он в одиночку садился на весла и отправлялся исследовать окрестности. По возвращении в Лондон, к разочарованию Элспет, в их отношениях мало что изменилось. Тем не менее ей удалось забеременеть, и на переломе веков на свет появился их единственный ребенок Алистер.

Трагедия Кеннета Грэма и его одержимость детством воплотились в его слабовидящем сыне, которого он с первых же дней метко прозвал Мышонком. Если Кеннет эмоционально так никогда и не повзрослел, то Мышонок отринет взрослость как нечто презренное; историю его жизни можно счесть одним из самых горестных примеров в истории литературы, когда реальные дети вдохновляли писателей либо как-то иначе попали на страницы классических сочинений — от Кристофера Робина до Алисы Лидделл и Потерянных мальчиков Дж. М. Барри.

Мышонок родился слепым на один глаз, второй глаз у него косил, придавая детскому личику жалобный вид. С самого начала он был необычным ребенком, и родители не сомневались в гениальности своего чада, хотя тот и имел скверную привычку задираť слуг и беспризорников на улицах — эту склонность Кеннет находил забавной и не особенно старался ее искоренить. Повесть «Ветер в ивах» родилась из рассказов, которые он сочинил для Мышонка, тот в обычаях эпохи воспитывался по преимуществу слугами и часто проводил выходные и праздники вдали от родителей. Началось всё, как Кеннет объяснил Элспет в записке, со «скаска на ночь про кротика, бобрика, барсука и водяную крысу» — детская манера изъясняться сохранилась, несмотря на увеличившуюся пропасть между супругами, — продолжение последовало в письмах, адресованных сыну. Поначалу «скаска» воспринималась как нечто глубоко личное, и лишь много позднее Кеннета убедили, что ее можно

растянуть до книги. В процессе сочинительства он ввел в нее мистические элементы, в том числе «Свирель у порога зари», странную, полную смутных ожиданий главу, в которой потерявшегося детеныша Выдры находят в момент пантеистического восторга у ног самого Рогатого Бога. Ранних литературных критиков смутила смесь детского шалопайства с явственно языческим преклонением перед природой, но чеканность и юмор повести Грэма ничуть не пожухли со временем, и его прибрежный мир сохранил притягательность и через век после первого тиража книги.

Считается, что с Алистера списана хулиганистая жаба мистер Тоуд, но если верные друзья Тоуда, Крот и дядюшка Рэт, пресекали его дикие выходки, то Мышонка или баловали сверх меры, или вообще не обращали на него внимания. После нескольких лет сюсюканья, чередовавшегося с одиночеством, поступление в школу стало для него ужасным потрясением. Мышонку, видимо, пришлось весьма нелегко в школе Рагби, которую он бросил всего через шесть недель, а его краткое пребывание в Итоне кончилось нервным припадком. Вопреки ожиданиям родителей, мальчик не имел особых склонностей к учебе и плохо ладил с одноклассниками, хотя его письма дышат самоуверенностью и обаянием, а на нескольких сохранившихся фотографиях он выглядит достаточно пригожим. В конце концов Мышонка передали в руки частного педагога; во время занятий он усиленно валял дурака, так что его отец, пустив в ход связи, устроил его в Крайст-черч, один из самых крупных и престижных колледжей Оксфордского университета.

Оксфорд был мечтой Кеннета Грэма, но у Мышонка с первого дня всё пошло из рук вон плохо. Он не справлялся с заданиями, провалил экзамены и не сумел подружиться ни с кем из студентов. Однажды вечером в мае 1920 года он отправился из колледжа в Порт-Мидоу, красивое угодье в четыреста акров, которое ограничивает Айзис — так называется в верхнем течении Темза, та самая река, которую его отец обессмертил в своей знаменитой книге. Как это ни странно, именно в Порт-Мидоу зародился замысел еще одного великого образца детской литературы — «Алисы в Стране чудес». Июльским днем, за несколько десятилетий до того, как Мышонок отправился на свою последнюю прогулку, Чарльз Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл, плыл по реке на лодке вместе с тремя юными сестрами Лидделл, уговорившими его придумать историю о необыкновенном подземном мире. Мышонок, чья

личная сказка также была записана и продана публике, мимо лабазника и лютиков шагал к железной дороге, он лег поперек полотна, пристроив голову на рельсы, и еще до заката его переехал поезд. При расследовании его смерть была признана несчастным случаем, однако отчет coronера не оставляет сомнений в том, что Мышонок покончил с собой.

После смерти Алистера чета Грэм оставила сельский дом, где прожила долгие годы, распродала большую часть имущества, включая огромную коллекцию игрушек, которые любовно собирал Кеннет Грэм, и отправилась в Рим. В следующее десятилетие супруги путешествовали по Европе и окончательно вернулись на берега Темзы лишь в 1930 году. А через два года Кеннет скончался от кровоизлияния в мозг в их доме на берегу. Его могила так плотно усажена душистым горошком, что воздух вокруг пропитан его едва уловимым запахом.

Позднее гроб с его телом перенесут в Холиуэлл, округ Оксфорда, где находится могила Алистера. Мне довелось побывать в этих местах с Мэтью по чистой случайности несколько лет назад. Кладбище выглядело сильно запущенным, трава была не скошена, а под кустом сирени мы заметили спящую лисицу, свернувшуюся клубочком в тени. Кеннет лежит рядом с сыном, и на их общем надгробии выгравировано: «В память о Кеннете Грэме, муже Элспет и отце Алистера, перешедшем реку 6 июля 1932 года и покинувшем детство и литературу, благодаря ему осененную высшим благословением».

Этой весной я читала «Детскую книгу» А. Байетт, действие которой происходит в начале двадцатого века, в период расцвета эдвардианской культуры. В романе выведены самые разные детские писатели, в том числе и Дж. М. Барри, и Грэм, и раскрывается неумышленный, побочный вред, который они причиняют своим навязчивым интересом к юному поколению. Один из вымышленных персонажей — писательница Олив Уэллвуд, сочиняющая сказки для каждого из своих детей. Всех их, кроме Тома, мало смущает едва уловимая примесь жестокости, вплетающаяся в сюжеты. Мальчик же полностью поглощен творением матери. Мне думается, образ Тома в каком-то смысле — дань Алистеру Грэму.

Для необузданного мальчишки Тома главная радость — бегать по лесам, и школа, куда его отсылают родители, калечит его психику. В «его» сказке речь идет о мальчике, у которого украли тень, и он переносится в волшебную страну, чтобы вернуть ее назад. Ко-

гда мать позднее переделывает эту историю в популярную пьесу, он чувствует себя абсолютно опустошенным и отправляется в долгое безумное странствие из Лондона в Kent, добирается до морского побережья в Дангенесе, дожидается, когда солнце садится, а затем идет навстречу волнам. «Он почувствовал, — пишет Байетт в своем местами тревожном, тревожащем повествовании, — что „сад Англии“ на самом деле — в Зазеркалье, шагнул туда и решительно отказался возвращаться. Он не хотел взрослеть»<sup>22</sup>. Нельзя знать наверняка ход мыслей Мышонка, но эта цитата идеально подходит как эпитафия Кеннету Грэму.

Последующие события заставили меня внезапно вернуться к реальности. Я поднималась длинной пологой дорогой и за очередным поворотом увидела, что навстречу мне несутся собаки: одна — золотистая, другая — смахивающая на оленью борзую. Я отпрыгнула в сторону, так как появившийся вслед за собаками мужчина добродушно со мной поздоровался и заметил: «Вы витаете в облаках, и вдруг — откуда ни возьмись — собаки», заронив во мне подозрение, что я разговаривала сама с собой вслух.

Лес кончился, и я оказалась перед клубком частных тропинок, бегущих между красивыми старинными особняками. Это был тайный мир абсолютно другого сорта, от него разило деньгами. Дома — Пегден, Пилстиз, Литтл-Гриб — стояли в глубине, от них отходили извивающиеся дорожки, сады окружали вековые буки с рыжеватой листвой. Из-за оград доносились обрывки разговоров, стрекотание газонокосилок и журчание воды, льющейся из открытых кранов. Сквозь ворота я видела клумбы и бордюры, чердачные помещения и коньки на крышах, карнизы и дымовые трубы.

Согласно карте, в миле или двух отсюда была гостиница, внизу, в долине, там, где река пересекала шоссе Слуп-лейн. Дома уступили место равнине с пастбищами для лошадей и голубыми пшеничными полями, внизу на многие километры расстился Вельд. Это была последняя возвышенность у меня на пути, семьдесят метров над уровнем моря, и я задержалась на самой вершине, чтобы сфотографировать свою тень, падающую на лютики, и четырех великолепных лошадей, тронувшихся легким галопом, когда щелкнул затвор. У подножия холма виднелась грабовая роща,

22. Байетт А. Детская книга. Перевод Т. П. Боровиковой.

стволы деревьев казались твердыми и резными, как кости, голые верхушки тянулись к небу. Кто-то соорудил из валявшихся бревен барьеры, типа тех, что мы с подружкой лето напролет мастерили в Саутли-Форесте, который, как мне теперь думалось, был остатками Andredesleage. И тут, слава богу, показалась гостиница, где меня ожидали имбирное пиво, ветчина и сэндвичи с горчицей, на которые я накинулась как голодный волк и проглотила всё до последней крошки.

Жара не спадала. «От тебя не дождешься помощи»,— сказала мужу старуха с собакой. Буфетчик не стал наполнять бутылку водой, а послал меня к колонке во дворе. Ниже дороги, мимо старой мельницы нес свои воды Уз, они казались мутными в тени и коричневыми, как пиво, на солнце, река текла беззвучно там, где прежде плескалась и петляла. Я стояла на мосту, не отрывая глаз от мелкой воды, струящейся под ивами. В книге Грэма есть строчка, превосходно передающая эту картину. «А река всё продолжала рассказывать свои прекрасные переливчатые сказки, которые она несла из глубины земли к морю, самому ненасытному на свете слушателю сказок».

От цели меня отделял последний лес, когда-то обширнейшие уголья Шеффилд-Парка, которые Генрих VIII отнял у герцога Норфолкского, а кровавая королева Мария вернула ему. Едва войдя в Уэпсборнский лес, я услышала жалобное нытье, сначала я подумала, что это цепная пила, потом — хор мух. К деревьям были прибиты дощечки, объясняющие пользу выращивания лесов для периодических порубок, однако явившаяся мне сцена была куда масштабнее тех лесозаготовок, которые мне доводилось видеть. Лес состоял в основном из каштанов, и повсюду из земли торчали пни, сверху спиленные под углом, чтобы не сгнили. Они занимали акр, если не больше. Среди них, точно мачты, высились худосочные дубы и остролисты. Там и сям лежали груды обрубленных сучьев, хотя не знаю, собирались ли их отсюда вывезти или пустить на перегной. «Выращивание лесов для периодических порубок создает естественную среду обитания, необходимую для многих растений и животных»,— гласила надпись на дощечке. Что правда, то правда. Здесь в изобилии росла наперстянка, совсем как иван-чай, обживающий воронки от бомб и места пожарищ и, точно язычки пламени, распространяющийся по черной земле.

Было очень тихо. В колее отпечатались покрышки, выдавив в грязи волнистый узор, а над кронами струился тихий птичий

щебет. Порой одинокий странник чувствует, что время обратилось вспять, а порой — что он стоит на пороге иного мира, хотя поди догадайся, рай это или ад. Ландшафт не изменился, во всяком случае, не произошло ничего такого, что можно было бы сформулировать в словах, однако ощущение необычности пронизывало всё вокруг. словно эта территория застыла в далеком прошлом и стала местом, где не хочется задерживаться из страха перед чем-то невыразимым.

В детстве мне снился сон, будто я отправляюсь в ад. Судя по спальне, где я проснулась, вся в поту, мне было шесть. Мы только что переехали — уже в четвертый раз, и я второй год училась в монастырской школе. В этом монастыре, как говорили девочки, окончил свои дни Джордж Джеффрис по кличке Судья-Вешатель, прославившийся своей жестокостью на «кровавых ассизах», суде над участниками восстания Монмута<sup>23</sup>. Во время летних каникул монахини приходили к нам собирать виноград, из которого делалось вино для причащения, и мне казалось, что они подобрали ключик к моим снам.

Ребенок, воспитанный в католической вере, знает, что мир не сводится к тому, что мы видим, знает, что за облаками и на глубине в тысячи километров существуют другие царства. Хотя в частности эти верования могут быть отвергнуты, ощущения остаются: что земля дышит, что нельзя доверять своим глазам. Меня приучили думать, что земля очень хрупкая, точно соломенная изгородь, и достаточно одной вспышки гнева, чтобы она повалилась. От книг, которые я читала ребенком, было мало проку. Их заполняли Нетландии и Нарнии, места, куда можно попасть через кроличьи норы или платяные шкафы, слоняясь возле лесов и рек или проходя сквозь зеркало. Разумеется, представление о мире внутри мира, мире, куда смертные попадают, лишь преодолев определенные трудности, не является исключительной принадлежностью ни католицизма, ни эскапистов вроде Кеннета Грэма, блаженно записывавшего свои истории в канун Первой мировой войны. Такие идеи имеют более древние корни, и в этом изуродованном лесу они казались весьма уместными.

Слово hell — «ад» — происходит от англосаксонского helan — «прятать»; оно родственно словам hole — «дыра» — и hollow — «впа-

23. Восстание Монмута — неудачная попытка свергнуть в 1685 году короля Якова II.

дина». Хель, царство мертвых в скандинавской мифологии, считалось сокровенным местом, каким и должна быть территория, где обитают души людей. Его аналог у древних греков именовался Аидом, а у римлян — Дитом. Эти царства не всегда ассоциировались с наказанием и проклятием. В древности ад скорее рисовался обширным залом ожидания, где мертвые, бодрствуя, убивали время.

Как бы ни называлось это место, живые люди не часто посещали его. Согласно античным мифам, лишь несколько смертных совершили путешествие в подземный мир. Эней, прародитель римлян, спустился у Кумской пещеры в царство теней, чтобы поговорить со своим умершим отцом. Одиссей, хитроумный Одиссей, добрался только до входа в Аид и вызывал души умерших на берега реки Ахеронт. Он хотел, чтобы слепой провидец Тиресий указал ему путь домой в Итаку, но к нему слетелись и другие тени, привлеченные кровью жертвенных животных, и среди них — охотник Орион, гнавший перед собой некогда умерщвленных им зверей. Орфей спускался в царство мертвых за Эвридикой, погибшей от укуса змеи, а Гераклу надлежало привести пса Цербера, охранявшего врата Аида. Стоит вспомнить и Психею: дабы вернуть себе возлюбленного Амура, она должна была справиться с несколькими заданиями, в частности принести от Прозерпины, царицы подземного мира, баночку с волшебным снадобьем.

Последний миф в обработке Роберта Грейвса — хорошее подспорье для поисков пути в Аид, который соединялся с миром смертных запутанными подземными ходами:

Знаменитый греческий город Лакедемон находится неподалеку отсюда. Немедленно отправляйтесь туда и попросите отвести вас на мыс Тенарон, лежащий в стороне от всех дорог. Тенарон расположен на южной оконечности Лаконии. Как только вы туда попадете, то сразу же найдете лаз, ведущий в подземный мир. Суньте туда голову — и вам явится дорога, бегущая вниз, по которой никто не ездит. Пролезьте через лаз — и дорога приведет вас прямо к дворцу Аида. Только не забудьте прихватить с собой два ломтя ячменного хлеба, вымоченного в медовой воде, держите их по одному в каждой руке и две монетки во рту.

Два ломтя ячменного хлеба, вымоченного в медовой воде, — подача Церберу. По преданию, Психея, спускаясь в Аид, не ела ничего, кроме простого хлеба, ведь принятие пищи в подземном ми-

ре отрезало путь назад. Это было табу, которое по неведению нарушила Прозерпина (греки именовали ее Персефоной или Корой). Похищенная богом Аидом — его царство называлось его именем, — она вкусила три гранатовых зернышка (по некоторым версиям, их было четыре, пять или шесть), и, хотя ей позволялось весной покидать царство теней, зимой она вновь возвращалась к своему супругу. Богиню Персефону Одиссей назвал «страшной» и «могучей».

Эти мифы зародились в глубокой древности в далеких странах. Однако они удивительным образом перекликаются с нашим фольклором, что наводит на мысль о знакомстве с географией и нравами Аида, словно подземные лазы также сокрыты в пещерах и курганах наших промозглых островов. Существуют тысячи и тысячи баллад и сказаний, рассказывающих о маленьком народце, обитающем под холмами в холодных каменных дворцах — точно пчелы в ульях.

Одна из таких легенд называется «Черри из Зеннора», впервые я на нее наткнулась в сборнике рассказов поэта Эдварда Томаса, который, в свою очередь, отыскал ее в книге народных сказок «Популярные сказания запада Англии», составленной Робертом Хантом в середине девятнадцатого века. Черри из Зеннора росла в Корнуолле, а когда ей стукнуло шестнадцать, оставила семью, чтобы поступить куда-нибудь в услужение и одновременно повидать свет. Шла она, шла и к исходу дня добрела до перекрестка четырех дорог, где проходила граница знакомого ей мира. Села Черри на камень у обочины и, обхватив голову руками, разрыдалась — так ее тянуло домой. Отерев ладонью слезы, она, к своему удивлению, увидела, что к ней направляется джентльмен, хотя всего несколько минут назад дорога была пустынной.

Выяснив, куда Черри держит путь, джентльмен поведал ей многое. Рассказал, что недавно овдовел и что жена оставила ему сынишку. Что живет он неподалеку, в долине, и, если она отправится с ним, ей не придется особенно утруждаться — только доить коров и присматривать за ребенком. Черри не всё поняла, но он говорил очень красиво, и она решила согласиться на эту работу.

Они вдвоем долго спускались по склону по тропе, затененной деревьями, так что солнца почти не было видно. Наконец они подошли к прозрачному ручью, пересекавшему дорогу. Черри слегка растерялась, но джентльмен обнял ее одной рукой за талию и перенес на другой берег, так что она и ног не замочила. Они спустились еще немного и наконец подошли к высокой ограде. Навстре-

чу им выбежал мальчуган. На вид ему было два или три года, но лицо его выглядело необычным, а глаза ярко блестели.

Обязанностью Черри было вставать на рассвете, отводить мальчика к роднику в саду, умывать его и протирать ему глаза мазью из пузырька. Но ей ни в коем случае не позволялось мазать этим снадобьем собственные глаза. Затем Черри должна была подоить корову, наполнить ведро молоком и отнести миску молока ребенку на завтрак. После того как вся работа была переделана, джентльмен попросил Черри помочь ему в саду: собрать яблоки и груши и прополоть лук-порей и репчатый лук. Черри и ее хозяин прекрасно ладили, и, когда она кончила прополку, он поцеловал ее в знак одобрения. У Черри было всё, чего только ни пожелает душа, но она не чувствовала себя полностью счастливой. Ей казалось, что глаза ребенка так блестят из-за таинственного снадобья, и ей часто думалось, что он видит в саду что-то незримое.

Однажды утром она отправила мальчика в сад собирать цветы, а сама, взяв пузырек, помазала свои глаза. Их словно огнем опалило! Девушка бросилась к роднику зачерпнуть холодной воды и вдруг увидела на дне маленьких танцующих человечков, и среди них был ее хозяин, такой же крошечный: он танцевал и целовал проходивших мимо дам. Весь день хозяин не показывался из воды, а вечером как ни в чем не бывало вернулся домой, высокий и статный.

На следующий день он остался дома, чтобы собрать фрукты. Черри помогала ему, и, когда, как обычно, он повернулся к девушке, чтобы ее поцеловать, она дала ему пощечину. «Целуйся со своими эльфами, с которыми ты танцевал под водой!» — воскликнула она. Так хозяин понял, что она нарушила запрет. С грустью он приказал ей возвращаться домой. Он подарил ей платья и разные прекрасные вещицы и, увязав ее одежду в узел, пошел ее провожать. Они долго шли в гору по тропам и проходам и почти на рассвете добрались до ровного места. Джентльмен поцеловал Черри и пообещал, что, если она будет вести себя хорошо, он иногда станет навещать ее. Сказав так, он ушел. Солнце поднялось, а Черри сидела в одиночестве на придорожном камне, и вокруг на целые мили не было ни души. Она заплакала, а устав от слез, побрела домой в Трерин, где все подумали, что явился ее призрак.

Не знаю, насколько стара эта сказка, но некоторые ее детали — волшебное снадобье, подземная страна — кажутся знакомыми.

Сказки чем-то похожи на розы: из них делают гибриды, пересаживают на другую почву, и они появляются вдали от родных краев. Зелье Черри сродни соку, которым Пак мажет закрытые веки в «Сне в летнюю ночь», и, по-моему, топология этой сказки восходит к «Томасу Рифмачу»<sup>24</sup>, классической легенде о подземном мире.

Томас Рифмач (иногда его именуют Правдивым Томасом или Томом Лином) повстречал на берегу ручья Хантли королеву эльфов, которая забрала его в волшебную подземную страну, откуда он вернулся много лет спустя, наделенный даром предвидения. Существует множество переложений легенды о Правдивом Томасе, они смешиваются и пересекаются, однако мир, в который попал герой, оказался бы хорошо знаком как Одиссею, так и Черри из Зеннора. Она тоже переходит ручей, хотя в легенде о Томасе он выглядит пугающе, под стать мифической реке Стикс. «Сорок дней и сорок ночей он брел по колено в крови, не видя ни солнца, ни луны и слыша лишь рокот моря». Далее он попадает в зеленый сад, где растут фрукты, к которым нельзя прикасаться, «ибо фрукты этой страны несут в себе все адские напасти». Волен ли Томас уйти? Нет, он не может покинуть волшебное царство по своему желанию, и ему также запрещено открывать рот, «ибо вымолви ты хоть слово, ты уже никогда не вернешься домой».

Створка дня приоткрылась. Звук, который я слышала, не имел отношения ни к цепной пиле, ни к мухам: это была пара красных тракторов, заготавливающих сено. Теперь они мелькали между деревьями: один косил, один собирал; один укладывал валки, другой ворошил их, чтобы сено сохло. В прежние времена на поле выходила целая деревня, а теперь этим занимались двое мужчин, они не смотрели друг на друга, скошенная трава летела в разные стороны, а затем сгребалась. Когда я шла мимо тракторов, то почувствовала томительно-сладкий запах кумарина, поднимающийся от сена. Он так сильно ударил мне в нос, что за весь день я произнесла всего пару фраз. «Вымолви ты хоть слово, ты уже никогда не вернешься домой».

Куда меня занесло, в какую эпоху? За грядой стоял особняк в стиле Тюдоров, трехэтажный, с двумя каминными трубами в че-

24. Томас Рифмач — шотландский бард тринадцатого века, персонаж кельтского фольклора, герой одноименной баллады.

ловеческий рост на каменной крыше. Когда я приблизилась, то увидела, что дом окружен трейлерами, а дорожка покрыта толстым слоем пыли. Вокруг не было ни души, лишь стояли рядами пустые фургоны, дом казался безмолвным, словно занесенный снегом.

Свет теперь падал свободно, широкими косыми потоками, и мне хотелось, как Лори Ли<sup>25</sup>, добрести до деревни и взбодриться графином вина. Но вместо того я плелась по пыли, увертываясь от сине-черных стрекоз, пока не пересекла магистраль A275. Прямо перед мостом Шеффилд-Парк дорога ныряла под изгородь и вела через луг, по пояс заросший травой. Здесь Уз делал кульбит, по его поверхности скользили лоскуты света. Теперь это была самая настоящая река, она текла между берегами, покрытыми непроходимыми зарослями полыни, крапивы и гималайского бальзамина. На дальнем берегу по ветвям бузины карабкались собачьи розы, плоские кремовые зонтики маленьких увядших цветочков переплелись между собой, и от них пахло июнем. Вода была такой мутной и илистой, что походила на жидкую грязь. В ней отражались и искажались растения, а под ними — зубчатые облака, медленно ползущие по небу.

Я опустилась на траву под ясенем. Волосы у меня на затылке взмокли, одежда на спине пропиталась потом. Сколько же мириад зеркал в мире! Казалось, каждая травинка ловит лучик солнца и посылает его обратно в небо. Сверху давили большие белые облака, а под ними носились стрекозы цвета электрик, они неизменно летали парочками, порой склеенные в подрагивающий узел. Вскоре я слегка остыла. Села, выпила воды и съела кусочек сыра. Пока я жевала, мое внимание привлекло какое-то шевеление на краю поля. По лугу катилась волна золотистого воздуха. Она двигалась, как дым, как густое облако из золотых хлопьев. Пыльца. Стоял июнь; слишком поздно для ольхи и для орешника, слишком поздно для ивы. Я прикинула варианты: крапива или щавель, подорожник, масленичный рапс или — что менее вероятно — сосна. Частички пыльцы различаются по структуре; они бывают пористыми и морщинистыми, гладкими и остроконечными. Пыльца подорожника покрыта бугорками; пыльца золотарника — зазубринами, как миниатюрный ананас. По-научному эта форма называется *echinate*, ежевидно-колючей, от греческого названия ежа — *echinos*.

25. Лори Ли (1914–1997) — английский поэт и прозаик.

Пыльца создана самой природой для того, чтобы перемещаться. Крошечные зернышки — сотни тысяч в одной щепотке — часто снабжены воздушными мешочками, это словно надувные нарукавники у пловца. Такие зерна путешествуют на огромные расстояния. В 2006 году жители Восточной Англии и Линкольншира обнаружили на машинах и в воздухе пыльцу из Скандинавии, которая, как выяснилось, пересекла Северное море и казалась на спутниковых снимках огромным облаком — желто-зеленый шлейф протянулся по берегу, как выразилась «Би-би-си» в своем репортаже. Ученые определили, что это пыльца березы, следствие дождливого апреля и солнечного мая в Дании, хотя повлиять могли и лесные пожары на западе России.

Я откинулась назад и стала наблюдать за приближающимся облаком. Оно могло пересечь океаны, хотя, скорее всего, плыло с соседнего поля, где среди травы росли медно-красный щавель и крапива. Разве это не Платон считал, будто существуют ветры, от которых беременеют лошади? Может ли такой ветер быть плодотворнее тучи длиной в три с половиной метра и шириной почти в метр, катившейся к томимым жаждой цветам?

На эту ночь я остановилась в гостинице «Гриффин» во Флетчинге, деревне, когда-то специализировавшейся на производстве наконечников для стрел. Именно здесь были сделаны почти все луки англичан, участвовавших в битве при Азенкуре<sup>26</sup>. В тринадцатом веке поместье принадлежало Симону де Монфору<sup>27</sup>. Сам он бывал тут лишь наездами, а в 1264 году его солдаты останавливались здесь на ночлег по пути из Лондона в Льюис, где прогремело первое крупное сражение Баронской войны. Местное предание гласит, что ночь накануне битвы бароны провели в бдении в маленькой церквушке, хотя, как и многие деревенские легенды, передаваемые из поколения в поколение, оно плохо согласуется с историческими свидетельствами.

Гостиница «Гриффин» тоже была старинной и гордилась своей кухней. Я появилась слишком рано для ужина и часок продремала в крошечном номере со скошенным потолком, куда свет про-

26. Крупное сражение, состоявшееся 25 октября 1415 года между французскими и английскими войсками близ местечка Азенкур в Северной Франции во время Столетней войны.

27. Глава сопротивления баронов королю Англии — Генриху III.

сачивался сквозь кривоватые ставни. В семь я вышла в сад со стаканчиком джина в руке. Близилась ночь летнего солнцестояния, и вся местность наслаждалась теплом, солнце струилось сквозь листья дубов, превращая траву в языки пламени. По лужайке разносился женский голос, хорошо слышный с того места, где я уселась.

«Чертова гадина, — возмущалась женщина. — Чертова гадина, это она дала девчонке кислоту?»

Я обернулась по сторонам. Она сидела через несколько столиков от меня, статная, сильно загорелая дама с изящной шеей и длинными стройными ногами. Она была пьяна. Алкоголь развязал ей язык, хотя, скорее всего, громогласной она была от природы. Ее подруга была низкорослой и круглолицей с взлохмаченной, как у ребенка, шевелюрой и в свободной юбке. С ними была собака, мопс в ошейнике со стразами.

«Ненавижу Брайтон, — кипятилась первая женщина. — Жутко злопамятная публика».

Ее подруга была занята собакой. «Смаглс! Смаглс!» — кричала она. Затем они заговорили одновременно, перебивая друг дружку, да так, что их секреты стали известны всем окружающим. Постепенно публика за другими столиками приумолкла, словно в присутствии королевской особы или покойника.

«В прошлом году я трижды принимала противозачаточные таблетки». — «Ты могла бы иметь тройню! А я — четыре тройни!» — «Он приложил меня о стойку». — «Девушки могут позаботиться о себе». — «И говорит...» — «Смаглс! Смаглс!» — «...Говорит: „Больше ни слова о кокаине“». — «Он виделся с этой девчонкой, но я в жизни ничего такого не делала, в жизни не делала». — А я ему: „Когда я просила у тебя кокаин?“ — «Это всё чертова дрянь, чертова дрянь!» — «В жизни тебя не прощу».

К ним присоединились двое мужчин, и их стало четверо. Они двигали столики и опрокидывали пепельницы, теряли собачьи поводки и солнечные очки.

«Церковь не имеет готового ответа на этот вопрос, — гласит „Католическая энциклопедия“. — То есть мы можем сказать, что ад существует, но где он находится, мы не знаем». Сартр считал, что ад — это другие. А за три века до него Шекспир написал: «Ад пуст. Все дьяволы сюда слетелись!»<sup>28</sup> Его не избежать, как бы ты далеко ни

28. Шекспир У. Буря. Перевод М. Донского.

ушел. После ужина я отправилась в церковный двор, где был похоронен Эдуард Гиббон, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи». Он скончался от перитонита после неудачной операции, из-за воспаления семенников по организму разлился гной и проник в кровь. У меня в голове женский голос прокомментировал: «У него раздулись чертовы яйца». Голос не унимался и всё бубнил — плебейский, раздраженный, намеренный всё свести до своего уровня. Тем временем небеса наполнились пронзительными криками ласточек. Сидя на скамейке, я смотрела, как птицы снижаются, заведя крылья назад и издавая громкие звуки. Какими странными занятиями мы наполняем жизнь: воспроизводим устройство Аида, исследуем строение зерна пыльцы. Ничто не забывается. Всё где-то накапливается: на поверхности или под землей. Этот процесс не останавливается — вот в чем загвоздка. Память всё прибывает, как золотой ветер, образующийся на собственных руинах.

Этой ночью я долго лежала без сна, едва не задыхаясь. Был канун Иванова дня, тот самый момент, когда исчезает преграда между двумя мирами. Ад и Аид, Дит, дворы и дворцы ши, скрытые под холмами, — до всех этих мест, казалось, рукой подать, быть может, они совсем близко, за пределами душевного номера.

Где-то у меня был план ада, смахивающий на анатомический рисунок, который изображает объект в поперечной и сагиттальной плоскостях. Во-первых, ад — это лабиринт, опоясанный реками: Ахеронтом, который пересекает кормщик в своей ладье; грозным Стиксом, похожим на пузырящееся вонючее болото; и, наконец, Летой, рекой забвения, протекающей внутри земли и доходящей до самого Рая. На втором рисунке ад представлен как последовательность ступеней или уступов. Он начинается как пологий спуск, где мыкаются мелкие грешники, который затем резко обрывается, как галечный пляж. На краю бездны стоит город, омываемый рекой Стикс. Под ним — пропасть, гигантская сужающаяся воронка, а на дне ее — вмерзший в лед сатана.

Если верить описанным мною иллюстрациям к «Божественной комедии», центр мира Данте в точности совпадает с пупом сатаны. Колодезь, где находится сатана, образовался, когда он был низвергнут из Рая в разгар сражения на небесах и на огромной скорости врезался в нашу вращающуюся планету — катастрофическое

событие, полностью изменившее мировую географию. Материковая часть Южного полушария брезгливо расступилась и заняла на севере новую позицию, морские воды хлынули в образовавшуюся воронку, и из-за сместившихся пластов земной коры образовался небольшой островок с горой Чистилище.

Одни детали космологии Данте отражают верования его эпохи, другие — собственные представления поэта. В четырнадцатом веке многие географы считали, что материковая часть расположена в Северной полушарии, а вся остальная планета затоплена морями. Однако идея, что гора Чистилище существует как остров в Южном полушарии, — плод уникальной фантазии Данте, разместившего Эдемский сад на самой ее вершине, под небесным градом.

Данте поместил Чистилище как антипод Иерусалима в южной части Тихого океана, за 1625 километров от ближайшей обитаемой земли, города Адамстауна на островах Питкэрн. Любопытно, что один из самых активных в мире подводных вулканов, подводная гора Макдональд, находится всего в трех сотнях километров от Дантовой преисподней, расстояние несерьезное для огромного океана. Этот вулкан, открытый только в 1967 году, имеет четыре тысячи метров в высоту, и его вершина выступает из воды. Зафиксировано по меньшей мере два извержения Макдональда: исследователем судном «Мелвилл» 11 октября 1986 года, французским исследовательским судном «Сюруа» и аппаратом для подводных исследований «Цинара» в январе 1989 года.

Эти два корабля обнаружили под водой озера из лавы и сульфидные трубы, мало чем отличающиеся от ландшафта, по которому передвигались Данте и его проводник. Склоны горы толстой осыпью покрывали лава, расплавленная магма и вулканические бомбы в форме буханок и кочанов цветной капусты, свидетельства ужасной катастрофы, произошедшей на дне океана. На восточном склоне вулкана — трещина, и вода в этом месте мутная и переливающаяся из-за постоянно сочащегося из нее перегретого газа. Непросто понять, почему считается, будто земля внутри раскаленная и бурлит, но с какой стати воображать себе, что это наше последнее пристанище?

Что до местоположения Рая — его легко отыскать на обочине дороги, ведущей к деревне Шарпсбридж, в прекрасном июне. Я ра-

но вышла из «Гриффина», подкрепившись булочкой с шоколадом и миской слив. Утро было в разгаре, самое благостное время, и, присев в поле, я, если можно так сказать, снимала с него сливки. Надо мной с запада, точно цеппелины, плыли облака, отбрасывающие летучие тени на пшеницу цвета морской волны, отличающую серым. Поле заканчивалось двойной канавой, заросшей цветами всех форм и окрасок,— словно я любовалась орнаментами в средневековом манускрипте. Клевер, сосчитала я, лютики, хвощ, подорожник, лесной чистец, мускусная мальва и облепленный семенами рыжеватый курчавый щавель. Дикие розы, одуванчики, красно-белая яснотка, ежевика, гладкая скерда и фиолетовые васильки. Вперемешку с ними росли цветы поменьше, более изысканные: журавельник с резными листьями, рогатый лядвенец, нитевидная вероника, зверобой, скальный подмаренник, мышиный горошек и ползучий полевой вьюнок с полосатыми, кармельно-розовыми и белыми цветами. Стебли васильков облепила мошкара, несколько бледно-фиолетовых цветков горошка угодили в паучью ловушку и очутились внутри плотной паутины.

Еще немного — и пейзаж изменился: леса и пастбища уступили место кустам и стадам коров, кряжи из песчаника — более ровной местности, предвещающей возвышенность Даунс. Несколько сотен метров я шла битый час: настолько поглотил меня этот новый мир. Пшеница справа и слева от меловой тропинки была на разных стадиях созревания: на западе голубые колосья стояли как налитые, на востоке были золотисто-зелеными и пушились, над ними вились стайки жаворонков. Я опустилась на бетонную плиту, от которой отвалился дорожный указатель, сорвала колосок и сунула его в рот. Внутри зерен оказалось молочко, правда, те, которые я выдернула из земли позднее, вкусом походили на поднявшееся тесто.

Вокруг меня носились жаворонки, невидимые, но весьма шумливые, они распевали непереводимую песню; считается, что ее исполняют у небесных врат. На плите валялся свиный катышек размером со сливу-венгерку, я положила его на коленку. Он состоял из множества крошечных осколков костей, которые я сначала приняла за шелуху кукурузы, и панцирей жуков, отливающих черным и оставляющих на пальцах блестящую пыль.

Сегодня был день духовного подъема. Растения всходили или собирались взойти, в воздухе трещали крыльями спаривающие-

ся стрекозы, порхали степенные бабочки-бархатницы. На другой стороне долины, в поле стоял маленький самолет, и, приблизившись, я заметила летную полосу. На скошенной траве белели утрамбованные стрелки, потрескавшиеся лакированные покрышки лежали друг на друге по три, сверху поблескивали посадочные фары. Самолет был вишнево-белый, над крылом — легендарный G-AYYT<sup>29</sup>. Я вообразила, как он делает петлю и летит из Парижа — сначала над голубым Ла-Маншем, затем над морем пшеницы.

Пшеница не переставала занимать мои мысли. Здесь она почти созрела: длинные зеленоватые волоски торчали в разные стороны и превращали поле в океан травы, волнующейся на ветру, который клонил колосья то назад, то вперед. Дул ветер, горели посадочные огни, и мне поначалу не удавалось свести все факторы воедино и догадаться, в чем тут фокус. Пшеничные стебли на этом склоне казались почти голубыми, причем насыщенность цвета резко увеличивалась снизу вверх. Правда, к концу месяца они пожелтеют, а затем ежедневно будут терять окраску, пока не станут практически бесцветными, превратившись в самую обычную солому, из которой в былые времена в Англии делали крыши и которую поныне кое-когда используют для починки кровель старинных домов. Колосья пшеницы были золотыми, волоски — водянисто-зеленовато-желтыми с бронзовыми кончиками. Когда ветер клонил их к земле — вот именно! — на них попадал дрожащий свет, который то низвергался с холма, как шквал, то убывал. «Зерно, — поясняет римский сельскохозяйственный трактат, — это твердая внутренняя часть зубца, покрытого чешуйками, из которых растут длинные тонкие иглы — ости. Таким образом, если чешуйки — это облачение зерна, ость — его головной убор».

Налетел ветер, вывернул листья ясеня белой стороной вверх, и они засверкали на солнце. От Баркхэма до деревни Шарпсбридж я шла под пение короля, а вокруг меня носились стрекозы цвета электрик длиной со спичку. Я присела, выслеживая ту, что была крупнее остальных, но она меня не подпустила ближе чем на два метра, хотя сначала я подкрадывалась к ней на цыпочках, а потом попробовала схватить ее на лету. Молочно-голубое туловище казалось пластмассовым, как трубочки, что, переносимые ве-

29. Модель британского самолета.

тром, застревают в живых изгородях или прилепляются к воротным столбам.

Деревня Шарпсбридж упорно выглядела незнакомой. Я здесь останавливалась четыре года назад, в доме, который снимал сын знаменитой актрисы. Это было еще одно знойное лето, и однажды вечером мы долго гуляли под скрип опор линии электропередачи и звуки флейты, вырывающиеся из распахнутого окна и разносящиеся над скошенными полями. Я спала в доме, стоявшем чуть на отшибе, в пустой круглой комнате, а небо над дымоходом — и моей головой — было усеяно мириадами звезд. Судя по всему, этот дом, довольно безобразный, снесли. Быть может, у меня мозги слегка набекрень. Я прекрасно помню необязательные детали: огромный малинник в саду, подгнивший сарайчик у пруда, оплетенный крошечными розочками.

Видимо, от ходьбы на большие расстояния я погрузилась в подобие транса, кровь струилась по сосудам в гармонии с движением ног. Забавно, что и Кеннет Грэм, и Вирджиния Вулф хвалили это необыкновенное состояние, оба считали его сродни писательскому вдохновению. «Природа особенно благосклонна к гуляющим, — пояснял Грэм в эссе, написанном незадолго до смерти, — к полумеханической ходьбе, она наделила ее особенностью, которой не обладает ни один другой вид физических упражнений. Ходьба заставляет ум трудиться, делает человека словоохотливым, восторженным, быть может, слегка ненормальным — творческим и сверхчувствительным, и, в конце концов, у него появляется чувство, будто слова живут собственной жизнью, словно кто-то с ним говорит, а он отвечает». Что до Вулф, то она выражалась лирически, уверяя, что наговаривает свои книги на гребне возвышенности Даунс, что слова льются из нее, когда она будто в полусне бредет под полуденным солнцем. В дневнике (запись от 2 октября 1934 года) она сравнила это состояние с плаванием или полетом в воздухе — «поток чувств и мыслей; медленно сменяемая, незнакомая череда гор, долог, цветов; всё это соединяется в великолепную тончайшую завесу совершенного мирного счастья. Правда, я часто живописала на завесе яркие картины и громко разговаривала».

Впереди были ступеньки, и, спускаясь к полю щавеля, маков и пшеницы, я первым делом увидела ряды цветных огоньков: красно-рыжих, алых и золотисто-коричневых, из их гущи выпорхнула маленькая бледно-желтая птаха, описала круг и исчезла из

вида. Интересно, алые маки того же оттенка, что краска, которую, по словам святого Беда Достопочтенного, англосаксы добывали из улиток: «её прекрасный цвет не тускнеет ни от солнца, ни от дождя и не блекнет со временем, а только делается ярче»<sup>30</sup>? Цвет мака такой кровавый, что кажется, будто лепестками можно запачкаться, но на самом деле цветок не мажется, хотя, если его раздавить, на коже останется липкая горечь.

Поднялся ветер. На противоположной стороне живой изгороди примостилась пустельга, крылья распростерты, головка неподвижна, словно пришпилена к небу. Щавель облюбовала черная мошка, а на следующем поле была вырыта канава. Я подошла поближе, чтобы взглянуть. Канава была наполовину заполнена прохладной зеленоватой водой, в которой угнездились множество растений: шлемник, водная мята, болотный подмаренник и кукушкин цвет; листья утопали в воде, а цветы слегка выступали над поверхностью. Над цветами вяло кружила парочка пчел, их жужжание убаюкивало, как кошачье мурлыканье. Я легла на живот и стала смотреть вдаль, на лес за лугом, пользуясь канавой как прицельной линией. «Река должна протекать за следующим полем», — задумчиво рассуждала я, а в трех километрах от нее — Исфилд. И тут я услышала географический призыв свыше, один из тех, что указывали Кроту на близость его старого дома, и я внезапно поняла, что уже бывала здесь раньше.

Я вскочила на ноги. Точно, вон там по поросшему полосками сорняков лугу вьется река в три метра шириной и почти такой же глубины — именно то, что надо для плавания. Еще недавно я мечтала сбросить одежду и плюхнуться в воду, но всё, чего мне хотелось сейчас, — это свернуться калачиком на берегу и смотреть вниз на течение, струящееся в тени ясеня, как жидкий уголь. Оно было довольно быстрым, а вода оказалась куда чище, чем я думала, хотя, когда я окунула в нее носок, со дна облаком поднялся глиняный осадок и метнулся косяк коричневатой мелкой рыбешки.

Лучшая часть дня ушла у меня на то, чтобы преодолеть последние километры до фермы в Исфилде, где я забронировала себе комнату. Я двигалась вдоль реки от стоянки к стоянке, избивая грани-

30. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / пер. В. Эрлихмана. СПб.: Алетейя, 2003. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию.

цы дороги<sup>31</sup>, по которой шагала целую вечность. Берега у запруды были илистыми, вода выглядела почти неподвижной. Над тополиными насаждениями Генри Слейтера на старой жестянке отдыхала бабочка, выкрашенная киноварью, на крыльях — круги, сделанные ламповой сажой. Возле исфилдского моста я присела под терном и стала следить за зябlichem: он двигался вверх по ветке между твердыми зелеными терновыми ягодами, пощелкивая и издавая переливчатые звуки. Пока я нежилась на солнце, мимо прошли двое рыболовов. Оба бритоголовые, с огромными рюкзаками, один разговаривал по мобильнику. «Точно. Там висит указатель. В Пилтдауне идешь вниз к гаражу, потом увидишь Паки, а потом вниз и направо. Точно, старина, точно! Отлично, до скорого». Это был первый человеческий голос за целый день, хотя во Флетчинге я заметила фигуру, пробирающуюся через кукурузное поле, а на ферме возле Шарпсбриджа мужчину с непокрытой головой, косящего на солнце крапиву у стены.

Мир бывает безлюдным, однако он кишит птицами. Из зарослей терновника на берегу разносилось пение. Я различала трели короляка, звук, точно в бутылку уронили монетку, и целый античный хор синиц, обменивающихся тревогами и назиданиями. Птичьи голоса были очень четкими, но, кроме зяблика, я не заметила ни одного пернатого. Целых двадцать минут я вглядывалась в бинокль, прежде чем окончательно потерять терпение. То же самое ощущение я испытывала, когда в детстве играла в прятки. «Иди, иди, давай вылезай!» — бормотала я себе под нос. «Иди!» — этими словами Иисус Христос вернул к жизни Лазаря. Быть может, за два тысячелетия заклинание растеряло свою силу, поскольку моему взору явилась лишь голубая синица. Требовалось снадобье, которое стащила Черри из Зеннора. «Если бы двери восприятия были чисты, всё предстало бы человеку таким, каково оно есть».

В этот миг над лесом взмыл ястреб, осмотрелся и спикировал, легкий и смертоносный, в прогалину между деревьями. Ого, уви-

31. Избивая границы — речь идет о так называемом избивании границ, древнем обычае, до сих пор сохраняющемся в некоторых английских деревеньках. Каждый год в Великий четверг или в день Вознесения Христова мальчики во главе со священниками отыскивают все пограничные знаки и указатели и бьют их палками. Такое напоминание о границах деревни было способом разрешения споров о разделе территории во времена, когда не было карт и других официальных документов о границах.

деть, как охотится ястреб! Мое зрение — единица, то есть для людей я достаточно зоркая. Зрение ястреба в четыре раза острее, и его мир, соответственно, больше моего. Ястреб видит иголку в стоге сена. Более того, этот хищник различает значительно больше цветов, чем человек. У него пять типов цветовых рецепторов, а у нас — только три, иначе говоря, ястребы чувствительны к ультрафиолету и выслеживают мышей по моче, которая светится. Ястреб также видит чистый желтый цвет, тогда как человек не может точно сказать, желтый цвет одуванчика — это смешение в равных долях красного и зеленого или спектральный оттенок. Всё это ввергло меня в ощущение собственной неполноценности, и мне хотелось гневно топтать ногами.

Быть может, во мне говорила алчность. Собственного зрения мне хватает с лихвой, еще два рецептора — и я бы рехнулась. Я оставляю попытки отыскать спрятавшихся птиц и даю глазам отдых, уставившись на горизонт. Лес, где скрылся ястреб, пребывает в постоянном движении, ветви дробят свет на мелкие брызги. Утренние высокие облака сменились перистыми, располозовавшими гляцевую лазурь, подобно туману. Объемность облаков была обманчивой. За несколько недель до расставания Мэтью рассказал мне занятные вещи о свойствах материи. Большая часть, то есть 99,97 процента вещества, составляющего наши тела, занимает объем, равный пылинке, настолько мелкой, что ее не видно невооруженным глазом. Причина, по которой мы не такие уж крохи, — в мельчайших пропорциях вещества, в том, что наш реальный размер определяется размером орбиталей электронов. Эти почти невесомые сферы распределения зарядов тщательно оберегают свое внутреннее пространство. Можно сказать, что не кости, а они формируют архитектуру наших тел.

Этот факт, сам по себе поразительный, можно трактовать шире. 99,9 процента вещества всех человеческих тел на планете, всех шести миллиардов, занимает объем, сравнимый с одним кусочком сахара. Всё остальное — это пустое пространство, вокруг которого вращаются электроны, ничего больше. Что до планеты, то это вращающееся облако зарядов с пригоршней протонов, рассеянных по ее величине. Я легла на землю, по моим ощущениям достаточно твердую, и повернулась к реке. Клочок неба расчистился, и в образовавшихся разрывах колыхались бесконечно ветвящиеся деревья. Приходится ли удивляться, что мы так упорно не хотим

расставаться с идеей жизни после смерти — от Аида, где обретают покой герои, до библейских ада и рая? Неужели среди крошечной тьмы действительно существует это иллюзорное пестрое царство?

Вечером, разгрузив поклажу и проглотив тарелку мясного ассорти с бобами, — в гостинице совсем недавно был ремонт, и там до сих пор пахло краской, — я отправилась вверх по реке, к деревянному мосту, ведущему на остров. Вовсю цвели желтые, ничем не пахнущие кувшинки, в лучах заходящего солнца между опорами струилась черная вода, подернутая холодной зыбью. Напротив меня по загону разгуливал гусь, щипля траву у копыт лошадей, а за ними расстилалось не то маисовое, не то гороховое поле. Под дубом подсчитывал свой улов рыбак, уже четвертый за этот вечер. Его собака то увязывалась за мной, то уносилась прочь, следя за тем, чтобы я оставалась в зоне ее видимости. На закате в природе наступает умиротворение, день движется к концу, к своему завершению. На дальнем берегу на деревянной ступеньке дремали две камышницы. Собака убежала вслед за хозяином, который поймал и выбросил обратно единственную серебристую рыбину.

Когда я повернула назад, небо пламенело, точно от пожара. Я остановилась как вкопанная. Невероятное зрелище. Немыслимое. Над полями рядом с Анкором летел чибис, он размахивал крыльями, точно веслами. На востоке над ясенями появился узкий серп луны — такого же тусклого серебристого цвета, как рыба у рыболова. Закат был таким красивым из-за пыльцы, пыли или копоти, скопившихся в атмосфере и рассеивающих свет. Хотя сами частицы были не видны с того места, где я стояла, они прочертили небо алыми прожилками — *соссинеис* на латыни, этим словом святой Беда Достопочтенный также описывал пламя. Алый переходил в другие цвета, словно выплеснувшиеся из чана с краской, добытой из улиток: голубовато-серый, красно-лиловый, фиолетовый и индиго. Под закатным небом бежала река. Она улавливала то, что могла. Последние краски сгустками отражались в зазеркалье, в мире, являющемся почти точной копией нашего. Местами вода казалась красной, точно наполненная кровью река, которую преодолевал Томас Рифмач. А что если сейчас пойти вброд? Интересно, куда я попаду? Непонятно. Сколько бы я ни всматривалась в течение, ясности не прибавлялось.